

A close-up photograph of a man with a beard and intense expression, wearing a dark jacket over a plaid shirt. He is holding and reading a piece of aged, yellowed paper with handwritten text in Cyrillic. The background is blurred, showing what appears to be an interior space with blue lighting.

Максим Козлов

Шепот вне времени

Максим Козлов

Шепот вне времени

<https://litres.ru/74127734>

SelfPub; 2026

Аннотация

Александр Громов находит в почтовом ящике письмо. Почерк — его собственный. Дата — через год. Содержание: «Ты умрешь 23 октября в 18:35. Твоя смерть будет самой обычной. Потому что ты сам сделал свою жизнь обычной». В доказательство — ключ от квартиры, которую он снимал четырнадцать лет назад и о которой никто не знал. На следующий день ключ находится.

С этого момента Александр начинает получать письма каждый день. Они заставляют его бросить работу, украсть, влюбиться в замужнюю женщину, отправиться на мотоцикле к морю. Следуя указаниям, он впервые чувствует вкус настоящей жизни. Но когда роковая дата наступает, смерть не приходит. Вместо нее приходит последнее письмо с признанием в обмане — и с вопросом, который переворачивает все.

«Шепот вне времени» — философский хоррор о границах сознания, природе страха и цене, которую мы платим за право жить, а не существовать. Это роман-письмо, адресованный каждому, кто хоть раз откладывал свою жизнь на потом.

Содержание

Доказательство под половиком	4
Искусство брать чужое	26
Восемнадцать тридцать пять	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Максим Козлов

Шепот вне времени

Доказательство под половиком

Письмо лежало в ящике. Я не проверял его три дня — ждал счетов за электричество и, возможно, рекламную открытку из местной пиццерии, которую доставят на неделю позже срока годности купона. Я не ждал писем. Никто не ждет писем в тридцать шесть лет, когда жизнь уже утряслась, как бетон в опалубке, и каждое утро наступает с точностью метронома, отсчитывающего не музыку, а время.

Дождь кончился час назад. Асфальт дышал влагой, отражая желтые прямоугольники окон. В почтовом ящике пахло мокрым металлом и старой бумагой. Кроме конверта, там валялся только ржавый гвоздь — напоминание, что ящик пора менять, что и эту мелочь я откладываю уже второй год.

Конверт был из плотной желтоватой бумаги, без марки, без штемпеля, без обратного адреса. Только мое имя, выведенное черными чернилами. Почерк был странным — размашистые буквы с легким наклоном влево. Такой наклон бывает у левшей. Я не левша.

Я открыл конверт прямо там, под козырьком подъезда, где капли срывались с прохудившегося шифера и разбивались о

мои плечи. Внутри был один лист, сложенный втрое. Текст занимал три строки — две основные и приписка внизу, отделенная чертой.

«Ты умрешь 23 октября в 18:35. Твоя смерть будет самой обычной. Потому что ты сам сделал свою жизнь обычной.

P.S. Вот доказательство: завтра утром ты найдешь под ковриком у входной двери ключ от квартиры, которую снимал, когда тебе было двадцать два».

Я прочитал это дважды. Потом перевернул лист — обратная сторона была чистой. Потом посмотрел на конверт изнутри, будто там могло скрываться объяснение. Ничего. Только запах — слабый, почти неуловимый, похожий на смесь табака и мокрой шерсти. Так пахло в квартире моего отца, когда он еще был жив.

Я сунул конверт в карман плаща и вошел в подъезд. Поднимался на четвертый этаж пешком — лифт не работал уже месяц. Управляющая компания присылала отписки, жильцы ругались в чате, но дело не двигалось. Обычная история. Обычная жизнь.

Дома я зажег свет на кухне, поставил чайник и сел за стол. Конверт лег на клеенку между сахарницей и прошлогодним номером «Нэйшнл Джоиграфик». Пальцы барабанили по столу. Дождь опять зарядил — капли стучали по жестяному отливу, отсчитывая секунды.

Почерк. Я достал свой ежедневник, тот самый, куда записываю только рабочие встречи и дни рождения коллег, кото-

рых не люблю. Сравнил. Буквы похожи, но в ежедневнике они мелкие, экономные, как будто я жалел бумагу. В письме буквы были шире, свободнее, словно писавший не торопился и знал цену каждому слову.

Время. 23 октября, 18:35. Сегодня было четырнадцатое октября, понедельник. До указанной даты оставалось девять дней. Если верить письму, мне отпущено чуть больше недели.

Я не верил. В тридцать шесть лет перестаешь верить во что бы то ни было — это профессиональная деформация возраста. Но был один нюанс.

Квартира. Та самая, которую я снимал в двадцать два года. Про нее не знал никто. Я никогда о ней не рассказывал — ни жене в свое время (мы развелись четыре года назад, она забрала собаку и чувство уюта), ни родителям, когда они еще были живы, ни друзьям, которых почти не осталось. Это была каморка на окраине Минска, где я прожил восемь месяцев после университета, пытаясь писать роман. Роман я не дописал. Из квартиры съехал, оставив ключ на тумбочке в прихожей, потому что хозяйка сказала — можешь не возвращать. Это было четырнадцать лет назад. Я почти забыл запах той квартиры — смесь дешевого растворимого кофе, типографской краски и надежды.

Никто не мог знать про ключ.

Я выпил чаю. Потом еще одну кружку. В три часа ночи я все еще сидел за столом, глядя на конверт. В четыре —

пошел в спальню и лег не раздеваясь. Сон был рваным, как старая простыня. Мне снился отец — он стоял в дверях той самой квартиры и что-то говорил, но слов было не разобрать. Проснулся я в семь от звука собственного будильника.

Утро вторника — серое, промозглое, с низкими тучами. Я лежал и смотрел в потолок, на трещину, которая расходилась от люстры двумя ветвями, похожими на дельту реки. Пять минут, десять. Потом встал.

Коврик у входной двери был старый, с узором из ромбов, протертым до основы в том месте, куда обычно наступаешь, когда тянешься к замку. Я приподнял его носком ботинка. Под ковриком была пыль, соринки и мелкий мусор, который скапливается в таких местах годами. Я почти выдохнул с облегчением.

А потом увидел его.

Ключ лежал в уголке, у самого порога, тускло поблескивая в неверном утреннем свете. Небольшой, с круглой головкой и бороздками, которые я помнил. Такие ключи выдают к дешевым замкам, которые ставят в съемных квартирах эконом-класса. От времени металл потемнел, но не заржавел.

Руки не дрожали. Это было странно — руки не дрожали, хотя должны были. Я нагнулся, поднял ключ, взвесил на ладони. Граммов двадцать, не больше. Металл охлаждал кожу.

Я помнил его. Определенно помнил. У ключа был маленький скол на бороздке — я сам его сделал, когда однажды пытался открыть дверь пьяным и промахнулся мимо замочной

скважины. Скол остался на месте. Я провел по нему большим пальцем.

Четырнадцать лет. Четырнадцать лет этот ключ где-то лежал, а теперь оказался под моим дверным ковриком в квартире за полторы тысячи километров от Минска. Это было невозможно. Но ключ лежал у меня в руке, реальный, вещественный, со своей историей и своим сколом.

Я положил ключ в карман, рядом с конвертом. Сделал кофе. Выпил стоя у окна.

За окном просыпался район — бетонные коробки многоэтажек, чахлые деревья, припаркованные машины с блестящими от дождя крышами. Мир был прежним. Но что-то в нем изменилось. Как будто в знакомой комнате передвинули одну вещь, самую незаметную, и теперь все пропорции сдвинулись.

В метро я обычно читал новости на телефоне. Сегодня я просто смотрел на людей. Их было много — уставшие лица, потухшие глаза, наушники в ушах. Каждый был занят своим. Никто не смотрел друг на друга. Я попытался представить, что каждый из них тоже получил такое письмо. Что было бы тогда? Паника? Смех? Отчаянные попытки прожить оставшиеся дни?

Скорее всего, они бы его просто выбросили.

В офисе пахло кофе из автомата и бумажной пылью. Мое рабочее место располагалось в опенспейсе на тридцать столов — серые перегородки, мониторы, чашки с логотипом

компании. Я работал аналитиком в страховой фирме. Семь лет на одном месте. Семь лет я считал чужие риски и переводил их в цифры, которые ничего не значили.

В то утро я сидел перед экраном и смотрел на таблицу, в которую нужно было внести данные за третий квартал. Цифры расплывались. Я думал о том, что, если письмо говорит правду, через девять дней меня не станет. Через девять дней таблица будет кому-то передана. Кому-то, кто продолжит заполнять ее, сидя на этом же стуле, глядя в этот же монитор. И ничего не изменится. В мире ничего не изменится от того, что меня не станет. Это было самое трезвое и самое горькое осознание за все утро.

— Ты в порядке? — спросил Андрей из соседнего отдела, проходя мимо с кружкой.

— Да. Просто не выспался.

Он кивнул и пошел дальше. Ответ был достаточно обычным, чтобы не вызывать вопросов. Обычным. Это слово теперь звенело у меня в голове как приговор.

В обед я вышел на улицу. Дождь перестал. Я стоял у входа в бизнес-центр и смотрел, как люди спешат по своим делам — в кафе, в банки, на встречи. Все они куда-то торопились. Я тоже всегда торопился, но если бы меня спросили — куда, я бы не смог ответить.

Достал телефон. Нашел в почте старую переписку с бывшей женой — она поздравляла меня с днем рождения два года назад, короткое сообщение без смайликов. Потом пе-

реписку с университетским другом, которая оборвалась три года назад на фразе «Надо бы встретиться». Потом чат с коллегами, где обсуждалась новая система отчетности.

Это была моя жизнь — набор полустертых цифровых следов.

Я закрыл почту и убрал телефон.

Вечером я вернулся домой и первым делом проверил почтовый ящик. Там лежало второе письмо. Такой же желтоватый конверт, та же бумага, тот же почерк. На этот раз текста было больше.

«Ты проверил ключ. Теперь ты знаешь, что я — это ты. У тебя осталось восемь дней. Если ничего не менять — умрешь точно в срок. Но если прожить их так, как никогда не жил, возможно, смерть отступит.

Не иди завтра на работу. Поезжай туда, где ты когда-то был счастлив. Это первое правило.

P.S. На ужин съешь мороженого. Завтра будет сложный день».

Я читал, стоя у почтового ящика. Вокруг было тихо — только ветер гудел в проводах и где-то на третьем этаже лаяла собака.

Я вошел в дом, поужинал мороженым (ванильным, которое нашел в морозилке с прошлого лета) и лег спать. Мне нужно было решить: идти ли завтра на работу или сесть в поезд и ехать неизвестно куда. Ответ казался очевидным. Но очевидные ответы — самые трудные.

Утром я позвонил начальнику и сказал, что заболел. Голос звучал ровно, почти скучающе. Начальник, Сергей Валерьевич, буркнул что-то про сдачу квартального отчета и повесил трубку. Я положил телефон на стол и посмотрел на свои руки. Они не дрожали. Это было странно: я впервые за семь лет соврал о болезни, впервые без предупреждения пропустил работу, а адреналина в крови не было. Только пустота и легкий звон в ушах.

Докуда ехать? Вопрос стоял ребром с самого пробуждения. В письме не было адреса, только условие: место, где я когда-то был счастлив. Это могло быть где угодно. Счастье — товар скоропортящийся, места его хранения ветшают быстрее домов.

Я сел на кухне и стал вспоминать.

Первое место, которое пришло в голову — отчий дом, но его снесли восемь лет назад, построили жилой комплекс с подземным паркингом. Второе — дача бабушки под Ярославлем: я не был там двадцать лет, и, скорее всего, участок давно зарос борщевиком. Третье — бар на Невском, где мы сидели с Леной в первый год брака: бар переименовался трижды с тех пор. Счастье не привязано к географии, оно привязано к моменту. А момент не вернуть.

Я почти сдался этой мысли, когда в памяти всплыл лес.

Озеро в Карелии. Мне было девятнадцать. Мы с отцом поехали туда в последнее лето перед его смертью. Палатка, комары, дым костра, въедающийся в одежду, и тишина —

такая глубокая, что звон в ушах казался музыкой. Отец учил меня разводить костер без бумаги. «Костер, Саша, не терпит суеты. Ты сначала положи маленькое, потом среднее, потом крупное. Сначала дай воздух, потом — жар». Я помнил его руки: большие, с вьёвшейся в трещины машинной смазкой — он был инженером-механиком. И озеро. Утром вода была неподвижна, как стекло, и отражала сосны так точно, что казалось — там, внизу, второй лес, перевернутый, безмолвный. Мы купались в ледяной воде, пили чай с дымком и молчали. Отец умел молчать. Я тогда не понимал ценности этого умения.

Туда. Я еду туда.

Я наскоро собрал рюкзак. Вещи ложились в него сами — пара футболок, свитер, дождевик. Я не брал ни ноутбука, ни планшета. Только телефон и зарядку, которые отключу при первой возможности. На кухне проверил почтовый ящик — пусто. Третьего письма пока не было.

Дорога заняла восемь часов. Сначала электричка до Петрозаводска — старая, с деревянными лавками и запахом мазута. За окном проплывали поселки, полустанки, ельники, потом болота в багряных и охряных пятнах — осень на севере не маскируется в зеленое, а горит открытым огнем. Я смотрел в окно и думал о том, сколько лет я не смотрел в окно просто так, без цели, без дедлайна. Сколько лет я смотрел только в экран.

Потом автобус до Лахденпохьи — разбитый «пазик», в ко-

тором, кроме меня, ехали две старухи с корзинами грибов и парень в камуфляже с удочками. Старухи обсуждали пенсии, парень спал, уткнувшись в стекло. Я смотрел на дорогу, серую ленту среди желто-красного леса, и чувствовал странное спокойствие. Как будто я уже умер и теперь просто наблюдаю за миром.

В Лахденпохье я взял такси до лесничества. Таксист, мужик с лицом печеного яблока, долго курил, прежде чем согласиться ехать по разбитой грунтовке.

— Туда ж нормальные люди не ездят, — сказал он скорее в пространство, чем мне. — Там и связи нет.

— Мне и не надо.

Он посмотрел на меня с той осторожностью, с какой смотрят на городских сумасшедших, и завел мотор.

До места мы добрались к вечеру. Я расплатился, взял рюкзак и пошел через лес по едва заметной тропе. Отец когда-то говорил, что тропы не исчезают, даже если по ним не ходят годами. «Лес помнит», — говорил он. Теперь я видел: тропа действительно читалась, хотя и заросла мхом и папоротником.

Озеро встретило меня тишиной. Той самой тишиной, которую я помнил. Она не изменилась. Вода была свинцовой, без единой ряби, и отражала низкое небо с редкими звездами. Сосны на том берегу стояли черной стеной. Пахло хвоей, сырой землей и приближающимися заморозками.

Я поставил палатку на старом месте — у трех валунов,

которые отец в шутку называл «три брата». Костер развел не сразу: сначала наломал лапника для подстилки, потом собрал сушняк, потом сложил его так, как учил отец, — маленькое, среднее, крупное. Дал воздух. Дал жар. Огонь занялся быстро, почти без дыма.

Я сидел у костра и смотрел, как пламя лижет сучья. Впервые за годы я никуда не спешил. Завтра не нужно на работу. Послезавтра — тоже. У меня были только эти восемь дней, и они принадлежали мне безраздельно.

Холод подбирался к спине. Я подбросил веток. Где-то в лесу ухнула сова. От воды тянуло ледяной сыростью.

Я думал о письме. О том человеке, который его написал. Если верить тексту, этот человек — я сам, только из будущего. Из будущего, которое наступит через восемь дней в 18:35. Будущий я пишет прошлому себе, чтобы изменить что-то. Но что? Если смерть неизбежна, зачем эти игры? Если ее можно отменить, почему нельзя сказать прямо?

И потом: если бы я знал, что жить осталось восемь дней, стал бы я ехать сюда? Стал бы я сидеть у костра в карельской глуши, а не рванул бы в Париж, Рим, Токио — в места, где никогда не был? Или наоборот — пришел бы именно сюда, в точку, где счастье было настоящим?

Я не знал ответа. Я вообще многого не знал.

В палатке было холодно. Я залез в спальник, поджал колени к груди и долго слушал, как ветер раскачивает верхушки сосен. Они скрипели, как старые корабельные мачты. Этот

звук — скрип, шум крон, тишина между порывами — был единственной музыкой, которая имела значение.

Я проснулся на рассвете от холода. Выбрался из палатки. Над озером стоял туман — такой густой, что противоположный берег исчез. Вода и воздух слились в единую молочную субстанцию, в которой не было ни верха, ни низа. Только белое безмолвие.

Я умылся ледяной водой, разжег костер, вскипятил воду в походной кружке. Кофе был горьким. Это был самый вкусный кофе в моей жизни.

В тот момент я не думал о смерти. Я не думал о письмах. Я просто сидел и смотрел, как из тумана проступают очертания сосен, как медленно светлеет небо, как по воде расходятся круги от проснувшейся рыбы. Это было состояние, которого я не испытывал годами, — присутствие в моменте. Не в прошлом, не в будущем, а здесь и сейчас, у костра на берегу ледяного озера.

Я провел на озере три дня. Три дня без связи, без новостей, без голосов. Я ловил рыбу (поймал трех окуней, отпустил), собирал бруснику (горькую, прихваченную заморозками, но живую), ходил по лесу, вспоминая названия грибов и птиц, которые знал когда-то. Вечерами сидел у костра и молчал. Отец был прав: молчание — это навык, и он утрачивается быстрее других.

На четвертый день я свернул лагерь и двинулся обратно.

В Лахденпохье, на автобусной станции, я впервые за эти

дни включил телефон. Сотни уведомлений, пропущенных звонков и сообщений. Большинство — с работы. Сергей Валерьевич угрожал увольнением. Я прочитал, заблокировал экран и положил телефон в карман. Страх не было. Было чувство, похожее на облегчение.

Вернувшись в город вечером пятницы, я сразу подошел к почтовому ящику. За три дня там скопились квитанции и бесплатная газета. И еще один конверт. Четвертый — но я еще не читал третий.

Дома я разложил письма на кухонном столе. В третьем, которое пришло на следующий день после моего отъезда, говорилось: «Ты хорошо начал. Но этого мало. Лес — это уход. Теперь тебе нужно наступление. Завтра подойди к женщине, которую никогда не осмелился бы заговорить». В четвертом, субботнем: «Ты вернулся. Ты готов. Человек, который проживает дни у костра, с меньшей вероятностью умирает обычной смертью. Теперь тебе нужно сделать следующий шаг. Не откладывай. P.S. Ее зовут Вера, она замужем. Это не должно тебя остановить. Ты никогда не делал ничего запретного — именно поэтому твоя жизнь была обычной».

Я опустил письмо на стол. В окно бил дождь вперемешку со снегом — погода ломалась, осень переходила в зиму раньше срока. За стеной у соседей играло радио. В кухне пахло сыростью с улицы и типографской краской.

Вера. Я знал ее. Женщина из кофейни на углу, куда я заходил каждое утро последние три года. Смуглая, с короткой

стрижкой и глазами, которые всегда смотрели чуть дольше, чем это принято у бариста. Мы никогда не говорили ни о чем, кроме погоды и сорта кофе. Я знал, что она замужем — видел кольцо, легкое золотое колечко, которое она иногда снимала и надевала на палец.

Восемь дней до смерти. Или до той даты, которую назначил мой двойник из будущего. Теперь уже шесть.

Завтра суббота. Она работает по субботам.

Я допил кофе и лег спать. Сон был черным, без сновидений, как вода в карельском озере.

Утром я побрился особенно тщательно. Надел чистую рубашку. Посмотрел на себя в зеркало — лицо тридцатишестилетнего человека, который последние три дня жил в лесу. Глаза стали другими. Я не сразу понял, что именно изменилось, а потом понял — в них появился блеск. Тот самый, который пропал незаметно, год за годом, вместе с надеждами, амбициями и желанием что-то менять.

Кофейня открывалась в восемь. Я пришел без пяти, стоял у двери под морозящим дождем, курил (бросил четыре года назад, но сегодня купил пачку в ларьке). Руки не дрожали — они вообще перестали дрожать с того дня, как я нашел первый конверт.

Вера открыла дверь, звякнул колокольчик. Она улыбнулась — дежурной улыбкой, которой встречают первого посетителя. На ней был бежевый фартук, волосы собраны в хвост. Кольца на пальце сегодня не было.

— Американо? — спросила она.

— Нет. Сегодня я буду пить капучино. И еще... — я сделал паузу, разглядывая ее лицо. Морщинки в уголках глаз, маленькая родинка на скуле. — Я хочу пригласить вас на ужин.

Она перестала возиться с кофемашинной. Повернулась ко мне. В ее глазах читалось не удивление — скорее любопытство, как у человека, который ждал этого вопроса и не ждал одновременно.

— Я замужем, — сказала она ровно.

— Я знаю.

— Тогда зачем вы это делаете?

— Потому что иначе я умру, — сказал я. Это была правда, единственная правда, которую я знал. — Не в буквальном смысле. Но умру.

Она молчала. Кофемашина зашипела, выпуская пар. За окном проехал трамвай, звякнув на повороте. Вера смотрела на меня, и взгляд ее был не осуждающим, а изучающим, как будто она видела в моих глазах то же, что я видел в зеркале час назад.

— Кофе остынет, — сказала она наконец и поставила чашку на стойку. Но когда я брал чашку, она коснулась моих пальцев — легко, даже невесомо, и все же сознательно. — Я работаю до шести.

— Буду ждать у входа.

Она кивнула и отвернулась к кофемашине. Я сел за столик у окна и пил капучино, глядя, как дождь размывает кон-

туры улицы. В кармане лежали четыре письма от человека, который утверждал, что он — это я. И я верил ему. Я верил, потому что чувствовал в этих строчках что-то настоящее: не надежду даже, а необходимость. Необходимость жить иначе.

В шесть вечера я стоял у входа с зонтом. Она вышла в легком пальто, накинула капюшон и взяла меня под руку так, будто мы делали это сотни раз.

— Куда пойдём? — спросила она.

— В место, о котором невозможно рассказать на работе в понедельник.

Она засмеялась. Смех был тихий, грудной. Мы шли под дождем, и зонта хватало на двоих, если идти плечом к плечу.

В ресторане, который я выбрал (дорогом, с живой музыкой и свечами), мы говорили три часа. Она рассказывала о муже — он был старше на пятнадцать лет, работал в банке, никогда не читал книг, считал ужин при свечах «дешевой романтикой». Я рассказывал об отце и о том, как мы молчали у костра. О письмах я не сказал ни слова.

После ужина мы пошли к ней. Ее муж был в командировке, об этом она сказала вскользь, скорее для протокола. Квартира была уютной, с книгами на полках и фотографиями на стенах — Вера на фоне гор, Вера с подругой на море, Вера улыбающаяся, настоящая. Мужа на фотографиях я не нашел.

Она налила вина. Мы сидели на кухне, и ночь за окном сгущалась, как сироп. А потом я поцеловал ее. Это не было

похоже на измену — это было похоже на пробуждение. Ее губы пахли кофе и дождем, она отвечала с той жадностью, которая выдает долгое одиночество вдвоем.

— Ты странный, — прошептала она, когда мы оторвались друг от друга. — Ты другой сегодня.

— Я получил письмо.

— Какое письмо?

— От человека, который знает меня лучше всех. Он сказал, что у меня осталось шесть дней, чтобы перестать бояться.

Она отстранилась. В глазах мелькнула тревога, но тут же ушла, сменившись чем-то похожим на понимание.

— Иногда мне кажется, что всем нам нужен такой человек, — сказала она. — Кто-то, кто скажет: ты умрешь. И тогда мы начнем жить.

Эти слова врезались мне в память — я буду вспоминать их позже, много позже, когда все изменится.

Ночь была долгой. Под утро я ушел — она просила остаться, но я знал, что муж возвращается рано утром, и не хотел осложнений. Хотя какие могли быть осложнения у человека, которому осталось шесть дней? Я шел по пустому городу, под фонарями, гаснущими один за другим, и чувствовал странную легкость, почти эйфорию. Как будто я украл что-то у судьбы. Как будто каждая минута теперь была на вес золота, а я наконец научился его тратить.

Дома меня ждало пятое письмо.

«Ты сделал это. Женщина, запретный плод, адреналин — это часть рецепта. Но это только начало. Ты когда-нибудь задумывался, сколько стоит твоя свобода? Продай все. Сними все деньги со счета. Раздай долги, если они есть. Остаток возьми наличными. Завтра ты уволишься. P.S. Осталось пять дней».

Я сел на пол в прихожей и перечитал письмо трижды. Продать все. Уволиться. Освободиться. Внутри что-то дрогнуло — не страх, а скорее предвкушение. Такое чувство бывает, когда стоишь на краю обрыва и смотришь в воду. Ты еще не прыгнул, но уже знаешь, что прыгнешь.

Я взял телефон, набрал номер начальника — не постеснялся разбудить в шесть утра в субботу — и сказал, что увольняюсь. Он кричал что-то про контракт, про обязательства, про то, что я подвожу команду. Я слушал молча и думал о том, что команда забудет мое имя через неделю. Что все эти обязательства — пыль. Что контракт — бумага, а моя жизнь — не бумага.

— Мне плевать, — сказал я. — С сегодняшнего дня я не работаю.

И повесил трубку.

Тишина в квартире стала иной — не гнетущей, а звенящей, как натянутая струна. Я открыл банковское приложение, посмотрел на счет. Семьсот сорок тысяч рублей. Подушка, которую я копил на старость, которой теперь не будет. Я оформил переводы — закрыл кредитку, разослал дол-

ги (мелкие, но неприятные), остаток заказал наличными в ближайшем отделении.

Когда я ложился спать на рассвете, я понял, что не чувствую усталости. Адреналин, о котором писал мой двойник, работал лучше любого наркотика.

Воскресенье я провел, разбирая квартиру. Вещи, которые копились годами, — одежда, которую я не носил, книги, которые не читал, диски, которые не слушал, сувениры из поездок, которые не помнил. Все это отправилось в мешки для мусора. Я оставил только самое нужное — пару джинсов, несколько рубашек, зубную щетку, паспорт, зарядку. И письма, которые лежали теперь в отдельной папке, пронумерованные по датам.

В понедельник утром я сходил в банк, снял деньги. Пачка купюр в конверте грела карман. Потом поехал в автосалон и купил подержанный мотоцикл — «Хонду» с пробегом по стране, всю в царапинах, но на ходу. Водительские права категории А у меня были с двадцати трех лет — я получил их в порыве юношеского максимализма и ни разу не воспользовался.

— А шлем? — спросил продавец, парень с татуировкой на шее.

— Бери самый дешевый. Я ненадолго.

Он странно посмотрел на меня, но промолчал.

На мотоцикле я поехал к Вере. В будний день в кофейне было пусто. Она стояла за стойкой, протирала кофемаши-

ну, и, когда увидела меня в кожанке, которую я нашел в секунд-хенде по дороге, улыбнулась.

— Что за вид?

— Я уволился.

— Совсем?

— Совсем. И еще я продал почти все вещи и купил мотоцикл.

Она отложила тряпку. Подошла ближе. Внимательно посмотрела мне в глаза.

— Ты серьезно?

— У меня осталось пять дней, Вера. Я хочу провести их так, чтобы моя смерть не была обычной. Потому что обычной смерти у меня не будет.

Я не заметил, как положил руку на стойку рядом с ее рукой. Не заметил, как наши пальцы сплелись. Мир за окном кофейни продолжал крутиться — шли люди, ехали машины, мигал светофор. Но здесь, внутри, время остановилось.

— Я хочу, чтобы ты поехала со мной, — сказал я.

— Муж...

— Я знаю, что он есть. Сейчас это не важно. Важно то, чего хочешь ты.

Она долго молчала. Потом сняла фартук, повесила его на крючок и крикнула куда-то в подсобку: «Лиля, я сегодня ухожу пораньше!» Вышла ко мне. Взяла шлем. Села на мотоцикл позади меня, обхватила руками.

— Куда?

— Куда угодно. Лишь бы подальше отсюда.

Я завел мотор. Мотоцикл взревел — звук был низкий, утробный, вибрирующий где-то в диафрагме. Мы сорвались с места и влились в поток, лавируя между машинами. Город мелькал — дома, мосты, проспекты, лица, — а я чувствовал ветер и тепло ее тела за спиной. Я не знал, куда мы едем, и мне было все равно.

Вечером мы сидели в каком-то придорожном кафе в трехстах километрах от города. Ели яичницу с беконом, пили дешевое пиво. Вера рассказывала о своих мечтах — она хотела открыть свою пекарню где-нибудь в маленьком городке, печь хлеб с хрустящей корочкой и забыть о мегаполисе. Я рассказывал о ключе, найденном под ковриком, и о письмах, которые меняют мою жизнь. Вера слушала, не перебивая, и в какой-то момент взяла мою ладонь в свои руки.

— Ты веришь, что умрешь? — спросила она.

— Сейчас — нет. Сейчас я верю, что впервые живу.

— Тогда какая разница, правда это или нет?

Разница действительно была небольшая. Имело значение только то, что мы сидели в пустом кафе у трассы, за окном моросил дождь со снегом, а внутри было тепло, и мы были вдвоем, и завтрашнего дня не существовало.

Той ночью в мотеле, когда она уснула, я вышел на балкон. Мотоцикл блестел под фонарем. Трасса была пуста. В кармане лежало письмо номер пять, и я знал, что завтра найду шестое.

«Я научил тебя желать, рисковать, терять и не жалеть. Но ты все еще не научился главному — нарушать правила, которые настоящие люди нарушают каждый день. Завтра ты украдешь. Не для выгоды. Не для денег. Просто чтобы знать, что можешь. P.S. Осталось четыре дня».

Я смял письмо в кулаке и посмотрел на звезды, которые были здесь ярче, чем в городе, — колючие, холодные, равнодушные. Где-то там, за этими звездами, возможно, сидел я сам, только на год старше, и писал эти строки. Или, может быть, никто нигде не сидел, а письма появлялись из ниоткуда, как дождь, как снег, как сама жизнь.

Я вернулся в номер, лег рядом с Верой и закрыл глаза. Завтра я стану вором. Послезавтра — кем-то еще. А через четыре дня наступит 23 октября, 18:35. И тогда все закончится. Или только начнется. Я не знал. И это незнание было лучшим, что случилось со мной за тридцать шесть лет.

Искусство брать чужое

Шестое письмо я нашел на следующее утро. Оно было засунуто не в почтовый ящик, а под «дворник» мотоцикла — белый уголок конверта торчал из-под резиновой ленты, намокший от ночной измороси. Я заметил его с балкона мотеля, когда вышел покурить на рассвете. Вера еще спала, свернувшись калачиком под грубым казенным одеялом, и дышала ровно, глубоко, как дышат люди, которые наконец-то выспались за долгие годы недосыпа.

Я спустился по бетонной лестнице, скользкой от сырости. Мотоцикл стоял один на всей парковке — черный, блестящий, похожий на спящее животное. Конверт был шестым по счету. Я вскрыл его, прислонившись к холодному седлу.

«Ты думаешь, что уже живешь иначе. Но это иллюзия. Ты все еще следуешь инструкциям. Ты все еще делаешь то, что тебе говорят. Настоящая свобода — это когда ты сам решаешь, какое правило нарушить. Я дал тебе направление, но выбор деталей всегда был за тобой. Сегодня ты украдешь. Не для того, чтобы что-то получить. А для того, чтобы что-то потерять — свой страх перед запретным. Вспомни супермаркет на Тверской, куда ты ходил студентом. Вспомни охранника с усами. Вспомни, как ты однажды положил в карман шоколадку и потом час не мог дышать от страха, хотя так и не вышел с ней за кассу — выложил обратно на полку

с печеньем. Тогда ты испугался. Сегодня ты не испугаешься. P.S. Осталось четыре дня. Люби».

Я перечитал последнее слово дважды. «Люби». Оно было выведено с нажимом — перо продавало бумагу почти насквозь, оставив выпуклый след на обороте. Это было новое слово. До этого письма были про действие — ехать, соблазнять, продавать, увольняться. Теперь про чувство.

Я сунул письмо в карман и вернулся в номер. Вера уже не спала — сидела на кровати, завернувшись в одеяло, и смотрела на меня сонными глазами.

— Опять письмо?

— Да.

— Что на этот раз?

— Мне нужно украсть.

Она не удивилась. Только кивнула, как будто я сказал, что мне нужно купить хлеба. За эти дни она привыкла к странности происходящего — или, может быть, просто приняла правила игры, как принимают правила чужого сна, когда понимаешь, что все равно скоро проснешься.

— Я с тобой, — сказала она.

— Это незаконно.

— Я знаю. Но я замужняя женщина, которая уехала с незнакомцем на мотоцикле. Думаешь, меня волнует закон?

Мы выехали через час. Дорога назад в город была серая, промозглая — октябрь в средней полосе не церемонится, он выжимает из пейзажа последние краски, оставляя только

графику: черные стволы, белое небо, серый асфальт. Я гнал мотоцикл на высокой скорости, и ветер хлестал по лицу ледяной крупой. Где-то на полпути начался снег — первый в этом году, мокрый, тяжелый, он таял, едва коснувшись асфальта, но на обочинах уже скапливался белой кашей. Вера прижималась ко мне всем телом, и я чувствовал тепло ее груди через куртку.

В город мы въехали к полудню. Супермаркет на Тверской все еще существовал — теперь это был сетевой магазин с яркой вывеской и пластиковыми тележками, но планировка осталась прежней. Я помнил ее до мелочей: вход через вертушку, ряды с консервами слева, молочный отдел справа, хлебный — в глубине, кассы у выхода. И охранник. Тот самый, с усами — его не было. Вместо него у входа стоял молодой парень в униформе, листавший ленту в телефоне.

Мы вошли. Вера катила тележку, я шел рядом, засунув руки в карманы куртки. Сердце билось ровно. Странно: в двенадцать лет, когда я стоял у полки с шоколадом и не мог решиться выйти за кассу, сердце колотилось так, что казалось — грудная клетка треснет. Сейчас, семнадцать лет спустя, я шел с намерением украсть, и внутри была тишина. Может быть, потому что нечего было терять. А может быть, потому что смерть, назначенная на послезавтра, делала все законы условными.

— Что будешь брать? — тихо спросила Вера.

Я оглядел зал. Дорогой алкоголь за стеклянной витриной.

Электроника на стеллажах. Ювелирный отдел с бижутерией. Все это было бессмысленно — украсть ценное значило бы украсть ради выгоды, а письмо говорило: не для выгоды. Для чувства.

Мой взгляд упал на винный отдел. Там, на нижней полке, стояли бутылки портвейна — дешевого, в пузатых бутылках с аляповатыми этикетками. Такой же портвейн мы пили с отцом в тот последний вечер перед моим отъездом в университет. Отец тогда сказал: «Сынок, не позволяй жизни стать привычкой. Привычка — это смерть». Я не понял его тогда. Я пропустил эти слова мимо ушей, как пропускают шум дождя. И только сейчас, стоя в супермаркете, я услышал их заново.

Я взял бутылку с полки. Не пряча, не оглядываясь, положил ее во внутренний карман куртки. Бутылка оттопырила полу, но я не запахивался — шел к выходу спокойно, размеренно, глядя прямо перед собой. Вера катила тележку следом. Охранник поднял голову от телефона, скользнул по мне равнодушным взглядом и снова уткнулся в экран. Турникет пискнул — я прошел.

На улице я достал бутылку. Мы стояли под козырьком супермаркета, снег падал гуще, город становился белым. Я открутил крышку, сделал глоток — портвейн был теплым, приятным, отдавал спиртом и дешевым виноградом. Точно таким же, как тогда, семнадцать лет назад.

— За отца, — сказал я.

Вера взяла бутылку, глотнула, поморщилась, но проглотила.

— Расскажи мне о нем.

И я рассказал. Мы сели на лавку в каком-то сквере под голыми липами, пили по очереди дешевый портвейн, и я говорил об отце — о том, как он работал на заводе, как приходил домой с руками в машинном масле, как никогда не жаловался, как умел слушать тишину, как умер от инфаркта в пятьдесят четыре года, в цеху, среди станков, не дожив до моей свадьбы. Я рассказывал и чувствовал, как что-то отпускает внутри — какой-то старый узел, затянутый много лет назад и с тех пор только затягивавшийся туже. Вера слушала, не перебивая, и ее рука лежала на моей.

Когда портвейн кончился, мы сидели молча. Снег запорошил наши плечи, наши волосы. Мимо шли люди — обычные, спешащие, с пакетами и зонтами, — и никто не знал, что мы только что украли бутылку вина. Никто не знал, что мне осталось четыре дня.

— Куда теперь? — спросила Вера.

Я закрыл глаза и подумал о письме. Оно заканчивалось словом «Люби». Это было не просто слово. Это была инструкция, самая трудная из всех.

— Теперь я хочу украсть еще кое-что, — сказал я. — Только это не вещь.

— А что?

— Время. Твое время. Я хочу, чтобы эти четыре дня ты

была со мной. Полностью. Без оглядки на мужа, на дом, на кофейню. Я ворую тебя.

Она долго смотрела на меня. Снежинки таяли на ее ресницах. Где-то вдалеке гудел город — трамваи, сигналы машин, обрывки чьих-то разговоров, — но здесь, на лавке под голыми липами, было тихо, как в карельском лесу.

— Ты не можешь украсть то, что уже твое, — сказала она наконец.

Это был ответ, которого я не ожидал. И одновременно — единственный ответ, который имел значение.

Вечером мы сняли номер в гостинице на окраине — в том самом районе, где я когда-то снимал квартиру в двадцать два года. Я не сказал об этом Вере, просто назвал адрес таксисту. Мы подъехали к серой девятиэтажке, и я вышел, оставив Веру в машине.

— Подожди пять минут.

Дом не изменился. Те же лужи у подъезда, тот же запах подгоревшего масла из чьей-то кухни, тот же лифт, который не работал уже тогда, четырнадцать лет назад. Я поднялся на пятый этаж и остановился у двери, обитой коричневым дерматином. Квартира номер 47. Четырнадцать лет назад я вышел отсюда в семь утра, с чемоданом и рукописью неоконченного романа, и больше не возвращался.

Ключ все еще лежал у меня в кармане — тот самый, найденный под ковриком. Я вставил его в замочную скважину. Он вошел с легким скрежетом, повернулся. Дверь откры-

лась.

Внутри был ремонт. Чужая мебель, чужие обои, чужой запах — лавандовый освежитель вместо моего кофе и типографской краски. Но планировка та же, и окна выходят на тот же пустырь с ржавыми гаражами. Я прошел в комнату, которая когда-то была моей. Там, в углу, где стоял мой письменный стол, теперь был диван. Я сел на него и закрыл глаза.

Двадцать два года. Восемь месяцев в этой комнате. Роман, который должен был стать великим, но не стал даже дописанным. Я бросил его на середине — не потому что не было идей, а потому что испугался. Испугался, что не получится. Испугался, что меня не напечатают. Испугался чужого мнения, которое еще не было высказано. И этот страх оказался сильнее желания писать. Он отравил текст, а потом и всю жизнь.

Я достал телефон и открыл заметки. Пальцы зависли над экраном.

«Роман, — напечатал я. — Название: «Шепот вне времени». Глава первая: «Письмо лежало в ящике...»

Я писал полчаса, не отрываясь. Слова приходили сами — те самые слова, которые я не мог найти в двадцать два года, потому что боялся их. Теперь страха не было. Был только текст и время, которого оставалось все меньше. Я не дописывал предложения до конца, бросал абзацы на полуслове, перескакивал с одной мысли на другую — но это было живое письмо. Настоящее. То, ради чего я когда-то приехал в

этот город.

Телефон завибрировал — сообщение от Веры: «Ты там жив?»»

«Жив, — ответил я. — Сейчас спущусь».

Я спустился, мы поехали в гостиницу, и я продолжал писать в номере, пока Вера принимала душ. Писал о ключе, о письмах, о карельском озере, о ней. Это был не роман — это был дневник человека, который торопится. Но в этой торопливости было больше правды, чем во всех черновиках моей юности.

Утром пришло седьмое письмо. Я нашел его под дверью номера — кто-то подсунул конверт в щель. Почерк был тот же, бумага та же, но тон изменился. Письмо было короче остальных. Почти телеграфным.

«Ты украл. Ты полюбил. Ты начал писать. Теперь осталось самое трудное. Ты должен простить. Простить всех, кто тебя обидел. Простить себя за все, что ты не сделал. Если ты умрешь завтра, ты должен умереть без груза. Сделай это сегодня. P.S. Осталось три дня. Она заслуживает знать правду».

Простить.

Это слово было тяжелее, чем «укради». Тяжелее, чем «уволься». Тяжелее всего, что я делал за последние дни. Потому что украсть можно вещь, уволиться — с работы, уехать — из города. Но простить — значит остаться наедине с тем, от чего ты бежал всю жизнь.

Я оделся, не разбудив Веру, и вышел на улицу. Снег ночью растаял, город снова был серым, мокрым, с лужами в выбоинах асфальта. Я шел пешком через весь город — на другой конец, туда, где находилось Северное кладбище. Я не был там с похорон отца.

Кладбище встретило меня тишиной и вороньем. Птицы сидели на голых ветках, переговариваясь хриплыми голосами. Я нашел могилу не сразу — участок зарос, табличка покосилась, но имя читалось: «Громов Александр Николаевич». Мой отец. Моего имени.

Я стоял над холмиком, засыпанным прелой листвой, и говорил вслух. Говорил то, что не успел сказать тогда, двенадцать лет назад. О том, что я не стал писателем, как он мечтал. О том, что я выбрал безопасную работу, безопасную жизнь, безопасную смерть. О том, что я не приезжал на могилу, потому что стыдился. О том, что только сейчас, когда смерть стоит в двух шагах, я понял, что он имел в виду, когда говорил о привычке.

— Прости меня, пап, — сказал я. — Я прожил твои слова неправильно. Я думал, что избегаю смерти, а на самом деле просто не жил.

Ветер качнул ветки. Ворона сорвалась с дерева и полетела куда-то в серое небо. Я постоял еще минуту, потом поправил табличку, убрал листья с холмика и пошел обратно.

Теперь оставалась Лена — бывшая жена. Та, которую я любил когда-то, с которой мы строили планы, которая забра-

ла собаку и ушла, сказав на прощание: «Ты стал как все». Я тогда обиделся. Я считал, что она предала меня. А теперь, спустя четыре года, я вдруг понял: она была права. Я стал как все. Она ушла не потому, что разлюбила, а потому, что я перестал быть тем человеком, в которого она влюбилась.

Я набрал ее номер. Гудки. Один, второй, третий. Она не отвечала — и я был почти благодарен за это. Почти. Но на четвертом гудке шелкнуло, и ее голос — усталый, настороженный — произнес:

— Саша? Что случилось?

— Лена, я хочу извиниться. За все. За то, что стал обычным. За то, что перестал мечтать. За то, что ты ушла, а я даже не попытался тебя вернуть.

Тишина в трубке. Потом вздох — долгий, прерывистый.

— Ты пьян?

— Нет. Я просто умираю.

— Что?!

— Не в буквальном смысле. Или в буквальном — это не важно. Важно, что я понял одну вещь. Ты была права. Полностью права. И я хочу, чтобы ты знала: я тебя прощаю за то, что ты ушла. Хотя прощать тут нечего — ты поступила правильно. И прости меня за то, что я не стал тем, кем мог бы стать.

Она молчала. Я слышал, как на заднем плане играет музыка — что-то классическое, кажется, Рахманинов. Или Шопен. Она всегда любила фортепиано.

— Саша, что с тобой происходит?

— Я начал жить, Лена. Только сейчас. За несколько дней до конца.

— Я приеду. Где ты?

— Не надо. Просто знай, что я думаю о тебе хорошо. Что я благодарен. Ты была лучшим, что случилось со мной за эти годы. Прощай.

Я отключился раньше, чем она успела ответить. Ком в горле рассосался. Стало легче — как будто я снял рюкзак, который тащил четыре года и не замечал его веса, пока не сбросил.

К вечеру я вернулся в гостиницу. Вера ждала меня в номере — сидела на подоконнике, обхватив колени руками, и смотрела в окно. Когда я вошел, она обернулась, и я увидел, что она плакала.

— Я позвонила мужу, — сказала она. — Я рассказала ему. Про нас.

Я сел рядом, взял ее за руку.

— Что он сказал?

— Он сказал, что знал. Знал, что я несчастна. Знал, что когда-нибудь это случится. Он не кричал. Это было хуже — он говорил спокойно, как будто давно ждал. А потом спросил: «Ты его любишь?» И я сказала «да». Впервые в жизни сказала это о другом мужчине. И не соврала.

Она посмотрела на меня мокрыми глазами. Свет уличного фонаря падал на ее лицо, и в этом желтом свете она каза-

лась почти нереальной, похожей на акварель, которую еще не просушили.

— Я тоже тебя люблю, — сказал я. — Это странно, потому что мы знаем друг друга пять дней. Но это правда. Может быть, самая правдивая вещь, которая случалась со мной.

Она уткнулась лицом мне в плечо и заплакала. А я сидел, гладил ее по волосам и думал о последней строчке письма: «Она заслуживает знать правду». Какую правду? Что я, возможно, умру завтра? Что письма могут быть чьей-то жестокой шуткой? Что наша любовь, такая внезапная и такая сильная, похожа на вспышку магния — яркую, ослепительную, и неизбежно короткую?

Я решил сказать ей. Все. С самого начала.

— Вера, послушай меня. Эти письма — они от меня самого. Из будущего. В них сказано, что я умру 23 октября в восемнадцать тридцать пять. Послезавтра. Я не знаю, правда ли это. Но я жил эти дни так, как будто это правда. И ты была частью этого.

Она подняла голову. Слезы высохли. В ее глазах был не страх — скорее странное, почти детское любопытство.

— Значит, послезавтра?

— Да. Если письма не врут.

Она помолчала, переваривая. Потом сказала то, чего я не ожидал:

— Тогда у нас есть еще два дня. И мы не будем тратить их на слезы.

В ту ночь мы не спали. Мы вышли из гостиницы, нашли круглосуточный бар в подвальчике на соседней улице — заведение с низким потолком, бильярдным столом и музыкальным автоматом, в котором еще крутились компакт-диски. Мы пили виски, играли в бильярд (я проиграл), танцевали под древний блюз и говорили — обо всем. О детстве, о мечтах, о книгах, о страхах. Я рассказал ей про свой ненаписанный роман. Она рассказала про свое желание печь хлеб. Мы строили планы на будущее, которого у меня могло не быть, но это почему-то делало их только реальнее.

Под утро, когда бар закрылся и мы вышли на мокрую мостовую, Вера спросила:

— Что будешь делать с оставшимся временем?

— У меня есть план.

— Какой?

Я посмотрел на светлеющее небо. Снег прекратился, тучи разошлись, и на востоке проступила бледная полоска зари.

— Я хочу провести эти два дня с тобой. И я хочу дописать роман. Хотя бы начало. Хотя бы столько, чтобы успеть сказать главное.

— А что главное?

— Что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Даже если у тебя всего девять дней.

Мы вернулись в номер на рассвете. Вера уснула мгновенно, свернувшись на кровати, а я сел за стол, открыл телефон и продолжил писать. Слова текли сплошным потоком — я

не редактировал, не исправлял, не думал о стиле. Это была исповедь, обращенная к кому-то, кто будет читать ее позже. Может быть, к самому себе.

В дверь постучали в десять утра. Я открыл — никого. Только на полу лежал восьмой конверт. На этот раз он был запечатан сургучной печатью, как старинные письма. Я сломал печать.

«Ты почти готов. Ты сделал все, о чем я просил. Ты нарушал правила и находил любовь. Ты крал и прощал. Ты начал писать. Но осталось последнее испытание. Ты должен признаться себе в том, о чем молчал всю жизнь. Ты должен озвучить свой главный страх. Тот, который прятал даже от себя. Произнеси его вслух. Только тогда ты будешь готов к смерти. Или к жизни. P.S. Завтра — двадцать третье октября. Не бойся. Я рядом».

Я перечитал письмо несколько раз. Главный страх. Тот, что прятал даже от себя.

Я знал, о чем речь. Знал с самого начала, с того момента, как прочел первое письмо. Но признаться себе было страшнее, чем украсть бутылку. Страшнее, чем угнать мотоцикл. Страшнее, чем все, что я делал за эти дни.

Вера проснулась, пока я сидел с письмом в руках. Она села на кровати, посмотрела на мое лицо и сразу все поняла.

— Опять задание?

— Да.

— Сложное?

— Самое сложное.

Она подошла, села напротив, взяла мои руки в свои.

— Тогда скажи мне. Произнеси вслух. Я выдержу.

Я смотрел в ее глаза — темные, глубокие, с золотыми искрами от утреннего света, пробивающегося сквозь шторы. И решился.

Я боялся не смерти. Я боялся жизни.

— Я боялся жить, — сказал я. — Всю жизнь. Я боялся, что если начну жить по-настоящему, то потерплю неудачу. Что мой роман окажется графоманским. Что женщина, которую полюблю, уйдет. Что начальник уволит. Что друзья осудят. Что мир оттолкнет. И я выбрал не пытаться. Это было легче. Безопаснее. Я построил себе клетку из привычек и назвал ее стабильностью. А когда Лена ушла, я сказал себе: «Вот видишь, ты был прав, не стоило и пытаться». Но на самом деле я просто струсил. И продолжал трусить каждый день. Каждую минуту. Письма, которые я получаю, — они не про смерть. Они про жизнь. Про ту жизнь, которую я мог бы прожить и не прожил.

Я замолчал. Тишина звенела. Где-то за окном кричали дети, лаяла собака. А Вера смотрела на меня и молчала.

А потом она сказала:

— Ты только что признался в своей главной слабости. Знаешь, кто на это способен? Только очень сильные люди. Те, кто умирают обычной смертью, никогда не говорят таких слов.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я тоже боялась жить. И когда встретила тебя — такого же труса, как я, — что-то щелкнуло. Ты начал действовать. И я начала вместе с тобой. Мы оба украли друг друга у страха.

Мы сидели, держась за руки, и утро было тихим и ясным. Оставалось чуть больше суток.

День прошел как одно мгновение. Мы бродили по городу, ели уличную еду, катались на колесе обозрения в парке, которое работало последний день перед закрытием сезона. Сверху город был как на ладони — серые прямоугольники кварталов, черные нитки улиц, свинцовая полоса реки, скованная первым льдом у берегов. Вера фотографировала что-то на телефон, я просто смотрел. Я запоминал. Каждую деталь, каждый звук, каждый запах.

Вечером мы сидели на скамейке в том же сквере под голыми липами. Я дописывал последние страницы на телефоне. Вера молча прижималась ко мне, положив голову на плечо.

— Ты боишься завтрашнего дня? — спросила она.

— Нет.

— Совсем?

— Совсем. Я сделал все, что должен был сделать. Если завтра в восемнадцать тридцать пять я умру — это будет смерть, о которой я не жалею.

— А если не умрешь?

— Тогда я женюсь на тебе, и мы откроем пекарню где-

нибудь у моря.

Она засмеялась. Смех перешел в слезы. Слезы — снова в смех. Так мы и сидели — два человека, которые знали друг друга всего неделю, но прожили вместе целую жизнь.

Ночью, перед тем как лечь спать, я проверил почтовый ящик гостиницы. Там лежало девятое письмо — последнее перед завтрашним днем. Самое короткое из всех.

«Ты готов. Ты прожил эти дни так, как другие не живут за годы. Ты нашел то, что искал. Теперь осталось только ждать. Завтра в 18:35 будь там, где ты впервые прочел мое письмо. Не ищи смерть — она сама тебя найдет. Или не найдет. P.S. Спасибо, что доверился».

Я сложил письмо и убрал в папку к остальным. Потом лег рядом с Верой, обнял ее, закрыл глаза. Завтра будет двадцать третье октября. День, который изменит все. Или ничего.

Я не знал ответа. Но я знал, что больше не боюсь. И это было самым главным доказательством того, что письма — откуда бы они ни взялись — сделали свое дело.

Восемнадцать тридцать пять

Я проснулся в шесть утра. За окном было еще темно — октябрьская ночь неохотно отступает, цепляясь за фонари, за карнизы, за голые ветки тополей. Вера спала рядом, дыша тихо и ровно, и я несколько минут лежал неподвижно, слушая это дыхание. Впервые за много дней мне не хотелось вставать. Хотелось остановить время, заморозить этот момент, как муху в янтаре, и остаться в нем навсегда.

Но время не останавливалось. Будильник на телефоне показывал 6:07. До назначенного срока оставалось двенадцать часов и двадцать восемь минут.

Я осторожно встал, стараясь не разбудить Веру, и вышел на балкон. Город лежал внизу, притихший, закутанный в предрассветный туман. Где-то далеко, у горизонта, небо уже начинало сереть, но здесь, над крышами, еще висела густая синева с редкими уколами звезд. Я закурил — четвертая сигарета за утро, хотя я снова бросил три дня назад. Сегодня было можно. Сегодня все было можно.

Мысль о смерти не пугала. Это было странно — за тридцать шесть лет я привык бояться многого: увольнения, одиночества, бедности, чужого мнения, старости, болезни. Смерть в этом списке была где-то на задворках — далекая, абстрактная, как землетрясение в чужой стране. Теперь она стояла передо мной, и у нее было точное время — 18:35, —

но страха не было. Вместо страха пришло спокойствие, похожее на то, что я испытывал в карельском лесу у костра. Все лишнее отпало, осталось только главное.

Я докурил и вернулся в номер. Вера уже не спала — сидела на кровати, обхватив колени руками, и смотрела на меня темными глазами.

— Сегодня? — спросила она.

— Да.

— Во сколько?

— В восемнадцать тридцать пять.

Она кивнула и больше не задавала вопросов. Она встала, оделась, умылась. Мы спустились в кафе при гостинице и заказали завтрак — яичницу, тосты, кофе. Ели молча. Обычные звуки — звон вилок, шипение кофемашины, бубнеж радио за стойкой — казались сегодня особенно громкими, почти невыносимыми.

— Чем займемся? — спросила Вера, когда мы покончили с завтраком.

Я задумался. До вечера было много времени, целая вечность, и эту вечность нужно было чем-то заполнить. Письма больше не приходили. Инструкций не было. Впервые за девять дней я остался без руководства, без подсказок, без приказов от самого себя из будущего. Это было непривычно и немного страшно — как будто человек, который вел меня за руку, внезапно отпустил ладонь.

— Я хочу увидеть море, — сказал я.

— Море? Сейчас? В октябре?

— Да. Мы сядем на мотоцикл и поедem на запад. До побережья четыреста километров. Мы успеем до заката. Я хочу стоять у воды и смотреть на волны. Это последнее, что я хочу сделать.

Вера улыбнулась — не весело, скорее печально, но в этой улыбке было что-то настоящее. Она встала из-за стола и протянула мне руку.

— Тогда поехали.

Мы выехали в семь тридцать. Мотоцикл завелся с пол оборота — старые «Хонды» не подводят, если за ними следить. Я проверил бензин, давление в шинах, подтянул цепь. Вера надела шлем, застегнула куртку и села позади. Утро было холодным, градуса три выше нуля, не больше, но ветра пока не было. Мы выехали из города по пустому проспекту, мимо спящих многоэтажек, мимо заводских труб, мимо торговых центров с потухшими витринами. Город кончился внезапно — просто кончились дома и начался лес.

Трасса была пустой. Мы неслись на запад, и солнце, только что поднявшееся из-за горизонта, било в глаза — низкое, бледное, холодное. Я вспомнил, как отец говорил: «Осеннее солнце не греет, оно только освещает. Но и этого достаточно». Тогда я не понял метафоры, теперь — понял.

Через час мы остановились на заправке. Вера пошла за кофе, а я стоял у колонки и смотрел на шоссе. По встречной полосе шли фуры — дальнoбойщики, которые ехали из Ев-

ропы в Москву. Я подумал о том, сколько людей сейчас в дороге, сколько жизней движется параллельно, не пересекаясь. И каждая из этих жизней когда-нибудь кончится.

— О чем думаешь? — спросила Вера, протягивая мне стаканчик.

— О том, что никто не знает своего времени. Водитель той фуры, продавщица на заправке, ты, я. Мы все думаем, что смерть где-то далеко. А она всегда рядом. Просто мы умеем не замечать.

— Это плохо или хорошо?

— Это никак. Просто факт. Но если бы люди знали свою дату, они бы жили иначе. Может быть, лучше. Может быть, хуже. Но точно иначе.

Мы выпили кофе и поехали дальше. Леса сменились полями — убранными, голыми, с редкими островками стерни. Потом опять леса. Потом начались холмы — пологие, округлые, покрытые жухлой травой. Я чувствовал, как Вера прижимается ко мне, и мне казалось, что я могу ехать так вечно. Только бы не останавливаться. Только бы не смотреть на часы.

Но часы шли. Стрелка на приборной панели показывала сначала девять, потом десять, потом одиннадцать. Мы проехали Псков, свернули на юг, в сторону эстонской границы. Дорога стала уже, покрытие — хуже, но движение почти исчезло. Мы были одни на всем шоссе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.